

Вступительное слово к российскому читателю

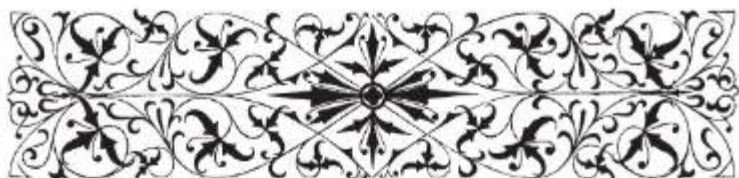
Перед вами книга, своеобразие которой в том, что она может быть прочитана под очень разным ракурсом. Ее можно прочесть просто как легкий, ненавязчивый, в полном смысле слова светский разговор о правилах хорошего тона; можно — как трогательное, хоть и приукрашенное, подернутое ностальгической дымкой, воспоминание о дворе герцогов Урбино, чей облик обессмертило искусство двух великих мастеров — Пьеро делла Франческа и Рафаэля. Книга большого друга Рафаэля, графа Бальдассаре Кастильоне (1478–1529) позволяет себя читать «не напрягаясь», на досуге. Оба главных антагониста шестнадцатого века, изнуравших Европу бесконечными войнами, император Карл V и французский король Франциск I, чрезвычайно любили эту книгу и, говорят, держали каждый у себя под подушкой, читая на ночь. «Книга о Придворном» была любимой книгой десяти поколений европейского дворянства, а в буржуазную эпоху заложила основы жизненной философии и эстетики дендизма, объединившей цвет английской культуры девятнадцатого века, от Байрона до Уайльда. Почему при такой популярности «Придворный» практически не проник в Россию до самого конца императорской эпохи — особый вопрос, над которым стоит подумать. (Об этом и о многих других интересных проблемах, связанных с этим сочинением, как и о судьбе ее автора, пойдет речь в большой сопроводительной статье к тексту.)

Наш перевод продиктован не только желанием заполнить давнюю лакуну, уплатить некий исторический и куль-

турный долг. Книгу Кастильоне, со дня публикации которой скоро исполнится пятьсот лет (1528), настала пора прочесть внимательнее, пристальнее, осознав ее как плод зрелых, совсем не «досужих», а взволнованных и выстраданных размышлений человека, через судьбу которого прошли и тяжелые бури, и злодейства, и самые светлые и прекрасные порывы его эпохи. Углубляясь во внутренний мир автора, обнаруживая ходы его мысли, скрытые от поверхностного, беглого взгляда, мы обнаружим, что и для нашего времени имеет не отвлеченную, но живую практическую ценность его мысль о политике как об искусстве человеческих отношений как таковых. И мы, возможно, по-новому задумаемся о сложных, неочевидных, даже причудливых связях между политикой и искусством, политикой и поэзией, политикой... и любовью.

Переводчик

ПРИДВОРНЫЙ



*Досточтимому и славному
господину дону Мигелу да Силва,
епископу Визеу¹*

I

Когда синьор Гвидобальдо да Монтефельтро, герцог Урбинский², покинул этот мир, я вместе с некоторыми другими рыцарями, ему служившими, остался на службе у герцога Франческо Мария делла Ровере³, его преемника в государственном правлении по праву наследства, и поскольку в душе моей еще живо было благоухание добродетелей герцога Гвидобальдо и то удовольствие, которое доставило мне в его дни дружеское общение со столь превосходными людьми, обретавшимися тогда при урбинском дворе, память о том побудила меня написать эти «Книги о Придворном»⁴, что я и сделал в течение немногих дней, намереваясь со временем исправить огрехи, порожденные стремлением поскорее уплатить долг памяти. Но долгие годы фортуна непрерывно держала меня под гнетом столь тяжелых испытаний, что я вовсе не имел возможности довести книги до такого состояния, чтобы мой несовершенный вкус остался ими удовлетворен.

Когда же я находился в Испании и из Италии мне сообщили, что синьора Виттория Колонна, маркиза Пескары⁵, для которой я прежде сделал копию книги, нарушила данное мне обещание, отдав ее значительную часть

в переписку, — [то] я не мог не почувствовать некоторое беспокойство, опасаясь многих неприятностей, которые в подобных случаях могут произойти, и тем не менее, веря, что у этой дамы, чьи добродетели я всегда чтил как нечто божественное, достанет разума и осмотрительности на то, чтобы я не понес какого-либо ущерба, подчинившись ее пожеланиям. Наконец, я узнал, что упомянутая часть книги ходит в Неаполе по рукам многих, и, поскольку люди всегда жадны до новинок, подумал, что кто-нибудь попытается ее напечатать. Встревоженный такой опасностью, я решился наскоро поправить в книге то немногое, что позволяло время, с намерением ее скорее опубликовать, считая меньшим злом увидеть ее мало исправленной собственной рукой, нежели сплошь истерзанной чужими.

Итак, чтобы исполнить свое намерение, я принялся ее перечитывать; и на первом же развороте, как только прочел заголовок, меня охватила немалая печаль, которая становилась все сильнее, чем дальше я продвигался. Ибо я вспоминал, что большинство собеседников, представленных мной, уже умерли: кроме лиц, упомянутых в предисловии к последней части, умер и сам мессер⁶ Альфонсо Ариосто, которому адресована эта книга, обходительный и скромный молодой человек чудеснейшего нрава, способный ко всему, что подобает делать придворному⁷. Умер и герцог Джулиано деи Медичи, доброта и благородная любезность которого заслуживали, чтобы мир наслаждался ими более долгое время⁸. Мессер Бернардо⁹, кардинал Святой Марии в Портике¹⁰, за остроту и приятную живость ума любимый всеми, кто его знал, — и тот умер. Умер синьор Оттавиано Фрегозо¹¹, человек по нашему времени редчайший: великодушный, благочестивый, исполненный доброты, разума, осмотрительности, учтивости, истинный друг чести и добродетели, столь достойный похвал, что хвалить его вынуждены были даже его враги; а тех несчастий, которые он вынес с величайшей стойкостью, было вполне достаточно, дабы увериться,

что фортуна как прежде была, так и ныне остается враждебна добродетели. Умерли и многие другие из упомянутых в книге, кому, казалось, природа обещала весьма долгий век. Но о чем невозможно и сказать без слез, это — что умерла сама синьора герцогиня¹²; и если дух во мне сокрушается от потери стольких моих друзей и государей, оставивших меня в этой жизни, словно в пустыне, полной невзгод, то насколько горше для него скорбь от кончины синьоры герцогини, нежели кого-либо другого, ибо она превосходила всех остальных, и я привязан к ней был больше, чем к кому бы то ни было еще.

Итак, дабы не опоздать с уплатой долга, которым я связан] перед памятью столь превосходной государыни и других, кого уже нет в живых, а кроме того, понуждаемый опасностью, нависшей над книгой, я дал ее напечатать и распространить в таком виде, как позволила мне срочность дела. Поскольку же вам ни о синьоре герцогине, ни о других, ныне покойных, кроме герцога Джулиано и кардинала Святой Марии в Портуке, не довелось составить представление при их жизни, то, чтобы вы получили его, насколько в моих силах, хотя бы после их смерти, я посылаю вам эту книгу, словно живописный портрет урбинского двора, выполненный не рукой Рафаэля или Микеланджело, но художника неважного, умеющего набросать лишь общие контуры, не расцвечивая правду приятными красками и не изображая иллюзорно с помощью искусства перспективы то, чего нет. И, как ни старался я показать в беседах подлинные качества и манеры упомянутых лиц, признаю, что не сумел ни выразить, ни даже обозначить добродетели синьоры герцогини; ибо не только слога моего недостаточно, чтобы выразить их, но и моих умственных способностей, чтобы их вообразить. И пусть меня порицают в этом или в еще чем-то достойном упрека (ибо я хорошо сознаю, что огрехов в книге немало), — я, во всяком случае, не стану уклоняться от истины ради красоты слога.

II

Но поскольку люди подчас находят такое удовольствие в попреках, что порицают даже не заслуживающее порицаний, некоторым, осуждающим меня за то, что я не подражал Боккаччо или не считал себя обязанным следовать обыкновению тосканской речи нашего времени¹³, не премину ответить следующее. Хотя Боккаччо, обладая, по своему времени, гибким дарованием, местами писал изобретательно и мастерски, однако он писал гораздо лучше, когда вверялся лишь дару и природному чутью, без всякого иного пристрастия и заботы об отделке написанного, нежели когда тщательно и принужденно старался быть как можно более изысканным и правильным. И сами его приверженцы подтверждают, что он весьма погрешал в суждении о собственных вещах, низко ценя то, что доставило ему честь, и высоко — то, что не стоит ничего. Так что, подражая манере письма, которую порицают даже те, кто в остальном его хвалит, я не смог бы избежать по меньшей мере таких же упреков, которые за нее делали самому Боккаччо. И заслуживал бы их больше, чем он: поскольку он погрешал, думая, что делает хорошо, а я — сознавая, что делаю плохо. А подражай я тому способу, который у многих считается хорошим, но сам Боккаччо его не столь ценил, — мне казалось бы, что таким подражанием я заявляю о несогласии с суждением того, кому подражаю, — что, по-моему, было бы нелепым. И если бы даже это соображение на меня не подействовало, я не смог бы в самом предмете подражать ему, не писавшему ничего сходного по теме с моими «Книгами о Придворном»; а в языке, как полагаю, не был бы и должен, ибо сила и истинная правильность хорошей речи больше, нежели в чем-то ином, заключаются в доходчивости, и всегда считается недостатком использование слов неупотребительных. Поэтому странно было бы мне использовать многие из слов Боккаччо, которые в его время были в ходу, а теперь оставлены самими же тосканцами.

Не считал я себя обязанным использовать и нынешнюю тосканскую речь — ибо торговля между различными народами всегда приводила к тому, что от одного к другому переходят как товары, так и новые речения, которые затем либо сохраняются, либо утрачиваются, будучи приняты в обиход или отвергнуты. И это, кроме свидетельств у древних, ясно видно и у Боккаччо, у которого так много слов французских, испанских и провансальских, иные из которых, возможно, не очень понятны и нынешним тосканцам, что если их все удалить, то книга его изрядно уменьшится в объеме. И поскольку, по моему мнению, нельзя до конца пренебрегать наречиями других именитых городов Италии, где сходятся мудрые, даровитые и красноречивые люди, рассуждая на важные темы государственного правления, наук, военного искусства и разных занятий, то я считаю себя в полном праве употреблять на письме те из слов, используемых в этих краях, которые имеют в себе приятность, красоту в произношении и всеми считаются хорошими и выразительными, пусть они будут и не тосканского или даже не итальянского происхождения. Кроме того, в Тоскане в ходу много явно испорченных латинских слов, которые в Ломбардии и других частях Италии сохранились нетронутыми и без какой-либо перемены и при этом используются настолько всеобщее, что благородные считают их приличными, а простолюдины без труда понимают. Так что не думаю, что я допустил ошибку, употребляя в книге иные из таких слов и охотнее выбирая чистое и подлинное в наречии моей родины, нежели испорченное и поврежденное в чужом. Мне не кажется добрым правилом то, что, как говорят многие, народный язык тем красивее, чем меньше имеет сходства с латынью; и не понимаю, почему одному наречию следует придавать намного более значительный авторитет, чем другому; чего ради думают, будто тосканское наречие способно испорченные и неуклюжие латинские слова облагородить и придать им такое изящество, что даже в такой поврежденности всякий

может их использовать как добротные (с чем я не спору), а ломбардское или любое другое — не вправе хранить те же латинские слова чистыми, целыми, подлинными, ни в чем не искаженными, так чтобы их хотя бы терпели. Поистине, как желание создавать новые слова или сохранять, вопреки обыкновению, вышедшие из употребления старые можно назвать дерзкой самонадеянностью, так желание наперекор тому же обыкновению истреблять и словно заживо хоронить слова, живущие веками, огражденные щитом использования от зависти времени и сохраняющие достоинство и блеск даже тогда, когда из-за войн и разрушений в Италии исказились язык, здания, одежда, обычаи, — такое желание не только трудноисполнимо, но и почти нечестиво. Поэтому мне кажется извинительным, что я не захотел ни пользоваться словами Боккаччо, вышедшими из употребления в Тоскане, ни подчиняться закону тех, кто считают недопустимым использование слов, не употребляемых в Тоскане теперь. Полагаю, что и в предмете книги, и в ее языке — в той мере, в какой один язык способен помогать другому, — я имею образец среди авторов, достойных похвалы не менее Боккаччо; и не думаю, что ошибся с выбором: пусть лучше во мне узнают ломбардца по моей ломбардской речи, чем не тосканца — по тому, что я буду говорить слишком по-тоскански: чтобы не вышло со мной, как с Теофрастом, в котором простая старуха узнала не афинянина, оттого что он говорил слишком по-афински¹⁴. Но поскольку об этом достаточно говорится в первой книге, я, устраняя предлог для всякого спора, признаюсь своим порицателям в одном: их тосканским наречием, столь трудным и таинственным, я попросту не владею; я писал на *своем*, так, как сам говорю, и для тех, кто говорит, как я. И думаю, что никого этим не оскорбляю: ибо, по моему, никому не запрещается писать и говорить на собственном языке; равно как никого не заставляют читать или слушать то, что ему не по нраву. И если они не захотят читать моего «Придворного», я нисколько не сочту себя оскорбленным.

III

Есть люди, которые говорят, что поскольку очень трудно и даже почти невозможно найти человека столь совершенного, каким я желал бы видеть придворного, то излишне его и описывать, ибо пустое дело обучать тому, чему нельзя научиться. Им я отвечаю, что предпочту заблуждаться вместе с Платоном, Ксенофонтом и Марком Туллием, рассуждавшими об умопостигаемом мире и идеях, среди которых, по их мнению, существуют идеи совершенного государства, совершенного государя, совершенного оратора¹⁵: ибо в нем также существует и идея совершенного придворного. Если я и не смог приблизиться к его образу пером, то хотя бы меньше труда потребуется от придворных, чтобы делами приблизиться к тому пределу и конечной цели, которую я предложил им в своем сочинении; и если при этом они не смогут достичь того совершенства (в чем бы оно ни состояло), которое я попытался изобразить, тот, кто более других к нему приблизится, будет наиболее совершенным, — так же, как если из многих лучников, стрелявших в одну мишень, никто не попал в середину, тот, кто к этому был ближе других, и является, без сомнения, лучшим. Иные же говорят, что я решил изобразить себя самого, уверив себя, будто во мне есть все те свойства, которые я приписываю придворному. Отвечая им, не хочу отрицать, что я стремился достичь всего, что хотел бы видеть в придворном; думаю, тот, кто не имеет некоторого опытного знания о вещах, рассматриваемых в книге, едва ли смог бы и писать о них, каким бы он ни был эрудитом. Но я не настолько чужд здравого суждения о себе, чтобы возомнить, будто я опытом знаю все, чего способен пожелать.

Покамест же защиту от этих обвинений (а возможно, и от многих других) я вверяю суду общего мнения, поскольку чаще всего публика, даже не зная чего-то в совершенстве, природным инстинктом чувствует некий дух, исходящий от доброго и от дурного, и, даже не умея привести какой-то довод, одно с удовольствием принимает

и любит, а другое отвергает и ненавидит. Так что, если книга в целом будет одобрена, я сочту ее удачной и достойной жить; если же не будет, сочту неудачной и буду думать о ней как о достойной забвения. И если даже общим судом мои обвинители не будут удовлетворены, то пусть хотя бы довольствуются судом времени, которое выводит в конце концов на свет скрытые изъяны всякой вещи и, будучи отцом истины¹⁶ и нелицеприятным судьей, по всегдашнему своему обыкновению, выносит правый приговор о жизни или смерти написанного.

Бальд. Кастильоне





Первая книга

*о придворном графа Бальдассаре Кастильоне
к мессеру Альфонсо Ариосто*

I

Я долго раздумывал, любезнейший мессер Альфонсо, какая из двух вещей для меня труднее: отказать вам в том, о чем вы так настойчиво и не раз у меня просили, или же исполнить это. Ибо, с одной стороны, мне казалось крайне суровым отказывать в чем-то, и особенно в похвальном, человеку, которого я очень люблю и который, как чувствую, очень любит меня; с другой же стороны, браться за дело, не зная, сможешь ли довести его до конца, казалось мне не подобающим тому, кто ценит справедливые упреки настолько, насколько их следует ценить. Наконец, после долгих раздумий, я решился испытать в этом деле, какую помощь могут оказать моему усердию преданность и сильное желание сделать приятное, — то, что в иных вещах обычно весьма усиливает у людей способности.

Итак, вы просите, чтобы я описал образец поведения, наиболее приличествующий, на мой взгляд, благородному человеку, живущему при дворе государей, чтобы он мог и умел в совершенстве служить им во всяком разумном деле, получая за это от них благодарность, а от про-

чих похвалы. Одним словом, каков должен быть тот, кто заслуживает носить имя совершенного придворного, безупречного во всем. Обдумав эту просьбу, отвечаю вам, что, если бы мне самому не казалось бóльшим злом выглядеть недостаточно любезным в ваших глазах, нежели неблагодарным в глазах всех других, я бы уклонился от этого труда, боясь прослыть самонадеянным у всех, кто знает, сколь трудно из великого разнообразия обычаев, употребляемых при дворах христианского мира, выбрать наиболее совершенную форму и как бы цвет этого придворного искусства. Ибо зачастую от привычки зависит, что одни и те же вещи нам нравятся или не нравятся; отчего порой и бывает, что обычаи, одежды, обряды и манеры, некогда бывшие в чести, становятся низкими и, наоборот, низкие становятся почитаемыми. Из чего ясно видно, что привычка больше, чем разум, имеет силу вводить между нами новое и предавать забвению старое; и кто пытается судить о совершенстве того или другого, часто ошибается. Итак, сознавая эту и многие другие трудности темы, на которую мне предложено писать, я вынужден кое-что сказать в свое оправдание и засвидетельствовать, что этот промах¹⁷, если можно назвать его так, мы с вами разделяем; так что если я подвергнусь порицанию, то и вы тоже, ибо вина взвалившего на меня груз не по силам должна считаться не меньшей, чем моя, коли я этот груз на себя взял.

Итак, положим начало задуманному нами и, если возможно, создадим такого придворного, чтобы тот князь, который будет достоин его службы, даже обладая малым государством, мог бы именоваться величайшим государем. В этих книгах мы не будем следовать определенному порядку или правилу в форме четких предписаний, какие обычно используются в обучении чему-либо; но по примеру многих древних, обновляя благодарную память, приведем некоторые беседы об этом предмете, некогда происходившие между людьми выдающимися. Ибо хотя сам я не участвовал в них, находясь в то время в Англии¹⁸, но, услышав о них вскоре по возвращении от лица, доподлинно мне их передавшего, все же попытаюсь их

пересказать, насколько позволит память, чтобы вам стали известны суждения и мысли об этом предмете людей, достойных высшей похвалы, мнению которых в любом вопросе вполне можно доверять. И чтобы, двигаясь по порядку, достигнуть цели, которую имеет в виду наш рассказ, не будет также лишним поведать, что послужило поводом к этим беседам.

II

На склоне Апеннин, обращенном в сторону Адриатического моря, почти в середине Италии находится, как всем известно, небольшой город Урбино. И хотя он расположен среди гор, и не столь приятных на вид, как, возможно, иные, созерцаемые нами во многих других местах, однако небо так милостиво к нему, что земля в его округе весьма тучна и богата плодами; так что, в придачу к благоприятному воздуху, там в изобилии имеется все потребное для человеческой жизни. Но из величайших благословений, которыми осенен этот город, главным считаю то, что в течение долгого времени им преимущественно правили превосходнейшие государи — кроме некоторого промежутка, когда он оказался на какое-то время лишен их посреди всеобщих бедствий Итальянских войн. Не заходя слишком далеко, достаточно привести во свидетельство этого славную память герцога Федерико, бывшего во дни своей жизни светочем Италии¹⁰. Нет недостатка в достоверных и многочисленных, еще живых свидетельствах его благоразумия, человеколюбия, справедливости, щедрости, неустранимости духа и военного мастерства, в котором могут уверить его многочисленные победы, взятие неприступных крепостей, стремительность в походах, частые случаи, когда с немногими людьми он обращал в бегство большие и крепкие войска, и то, что он не проиграл ни одной битвы, по какой причине мы можем приравнять его ко многим славным древним. Он, среди прочих своих похвальных деяний, на крутом склоне, где расположен Урбино, построил дворец, по

мнению многих, самый красивый, какой только можно найти по всей Италии; и так хорошо снабдил его всем потребным, что он казался не дворцом, но городом в форме дворца²⁰ — и не только тем, что обыкновенно бывает, вроде серебряной посуды, отделки комнат драгоценной парчой, шелком и другими подобными материями, — но украсил его великим множеством древних статуй из бронзы и мрамора, самыми отменными картинами, разнообразными музыкальными инструментами — и не встречалось там ни единой вещи, которая не была бы редкостной и превосходной. Ко всему этому он, пойдя на большие траты, присоединил огромное собрание самых замечательных и редких книг на греческом, латинском и еврейском языках, которые все украсил золотом и серебром, полагая их самым блистательным достоянием своего обширного дворца²¹.

III

Итак, названный князь, сообразно естественному ходу вещей, имея уже шестьдесят пять лет от роду, умер²² так же славно, как и жил, — а сына десяти лет, единственного у него наследника мужского пола, лишившегося уже матери, оставил после себя государем: это был Гвидобальдо. Он казался наследником не только государства, но и всех добродетелей отца; и с самого начала, в силу своих удивительных достоинств, внушал столько надежд, скольких, казалось, нельзя было ожидать от смертного; люди даже считали, что среди выдающихся деяний герцога Федерико не было более значительного, чем то, что он произвел на свет такого сына. Но фортуна, завистливая к столь великой добродетели, всею силой противостала такому славному началу: ибо, не достигнув еще и двадцати лет, герцог Гвидобальдо заболел подагрой, которая, сопровождаясь жесточайшими болями, в недолгое время так парализовала все его члены, что он не мог ни стоять на ногах, ни двигаться; и таким образом одно из самых красивых и статных тел этого мира было обезображено и расстрое-

но в цветущем возрасте. Не удовлетворившись и этим, фортуна была так враждебна всякому его замыслу, что лишь изредка он добивался результата в задуманных им делах; и хотя ему были свойственны мудрая осмотрительность и стойкий дух, выглядело так, что все им предпринимаемое, хоть на войне, хоть во всем остальном, всегда кончается для него плохо. Свидетельством тому многие и разнообразные бедствия, которые он неизменно выносил с таким мужеством, что фортуне никогда не удавалось одолеть его добродетель. Напротив, презирая доблестной душой поднимаемые ею бури, он жил в болезни — словно здоровый, в злосчастиях — словно счастливейший, с великим достоинством и всеми почитаемый; и, невзирая на телесную немощь, он на самых почетных условиях сражался на службе у светлейших королей Неаполя Альфонсо²³ и Ферранте-младшего²⁴, у папы Александра VI²⁵, у венецианских и флорентийских правителей. Когда затем взшел на папский престол Юлий II²⁶, он был назначен капитаном Церкви. Все это время, следуя своему обыкновению, он прежде всего другого заботился о том, чтобы дом его наполняли самые знатные и выдающиеся люди благородного звания, с которыми он держался очень просто, находя радость в общении с ними. При этом удовольствие, которое он доставлял другим, было не меньше, чем то, что он от них получал, будучи прекрасно обучен тому и другому языку²⁷ и соединяя радушие и любезность с познаниями в бесчисленном множестве вещей. Мало того, его так воспламеняло величие его духа, что он, хотя сам не мог лично упражняться в делах рыцарства, как прежде, но получал величайшее удовольствие, наблюдая за упражнениями других, и в словах своих, то поправляя, то хваля каждого по его заслугам, ясно показывал, насколько хорошо в этом разбирается. Поэтому в турнирах, в состязаниях, в скачках, в умении владеть любым оружием, равно как и в праздничных развлечениях, в играх, в музыке, словом, во всех занятиях, приличных для благородных рыцарей, всякий стремился выказать себя достойным столь высокого общения²⁸.

IV

Итак, все время дня было распределено по часам между досточестными и приятными занятиями как для тела, так и для души. Но поскольку синьор герцог по причине болезни после обеда довольно надолго удалялся для сна, все остальные обычно уходили в покои синьоры герцогини Элизабетты Гонзага, где вместе с нею неизменно находилась в тот час и синьора Эмилия Пиа²⁹, которая, будучи, как вы знаете, одарена весьма живым умом и рассудительностью, руководила всеми, и каждый черпал от нее разум и добродетель. Итак, здесь звучали сладостные беседы и пристойные шутки, и на каждом лице была написана жизнерадостная веселость, так что этот дом без сомнения можно было назвать подлинным приютом радости. Не думаю, чтобы когда-либо в каком-либо другом месте можно было вкусить столько наслаждения от милого и любезного общества, как бывало там в те времена. И, не говоря о том, сколь велика была для каждого из нас честь служить такому государю, как тот, о ком я сказал выше, в душе каждого рождалась величайшая радость всякий раз, когда мы собирались перед очами синьоры герцогини. Казалось, эта радость была цепью, так соединявшей всех любовью, что и братья никогда не имели между собой большего единства воли и большей сердечной привязанности, чем та, что царила там между всеми. Так же велось и среди женщин, общение с которыми было весьма непринужденным и целомудренным; а именно: каждому позволено было разговаривать, садиться рядом, шутить и смеяться, с кем ему хотелось; но уважение к воле синьоры герцогини было столь велико, что сама свобода была крепчайшей уздой, и любой полагал величайшим удовольствием на свете угодить ей, а величайшим наказанием — ее огорчить. По этой причине с весьма широкой свободой здесь соединялись самые целомудренные нравы, и смех и шутки в ее присутствии были приправлены не одними тонкими остротами, но и грациозным и степенным достоинством; ибо умеренность и величие, свойственные всем поступкам, словам и жестам

синьоры герцогини, когда она шутила и смеялась, были таковы, что даже те, которые прежде ее никогда не видели, узнавали в ней женщину великого сана. Запечатлеваясь таким образом в окружающих, она придавала всем свой образ и качества, отчего каждый старался подражать этому ее стилю, перенимая правило добрых обычаев от присутствия столь славной и добродетельной женщины. Впрочем, моей целью здесь не является рассказывать о ее прекраснейших свойствах, так как передо мною стоит другая цель и потому что они достаточно известны миру — гораздо лучше, чем я мог бы описать их словом или пером. Те же из них, которые, возможно, были неким образом прикровенны, фортуна, как бы восхищаясь столь редкими добродетелями, пожелала обнаружить многими злоключениями и несчастьями, чтобы засвидетельствовать, что и в нежной груди женщины, одаренной к тому же и редкой красотой, могут жить благоразумие, крепость духа и все те доблести, что весьма редки даже у суровых мужчин.

V

Но, оставив это, повторю, что обычным было всем лицам благородного звания, которые находились во дворце, сразу после ужина собираться у синьоры герцогини, где среди других приятных развлечений, музыки и танцев, бывших в обиходе, иногда предлагались занятные вопросы, а иногда затевались какие-нибудь остроумные игры по желанию одного или другого, в ходе которых присутствующие нередко под различными покровами сообщали свои помыслы, кому более хотели. Иногда возникали споры о различных вещах, или же они слегка жалили друг друга тут же придуманными остротами; часто составляли *импрезы*³⁰, как мы теперь это называем; и из таких бесед можно было извлечь необычайное удовольствие, ибо, как я уже сказал, двор был полон отменных талантов. Среди них, как вам известно, были славные синьор Оттавиано Фрегозо, его брат мессер Федерико³¹, Джулиа-

но Медичи, Маньифико, мессер Пьетро Бембо³², мессер Чезаре Гонзага³³, граф Лудовико да Каносса³⁴, синьор Гаспаро Паллавичино³⁵, синьор Лудовико Пио³⁶, синьор Морелло да Ортона³⁷, Пьетро да Наполи³⁸, мессер Роберто да Бари³⁹ и без числа других благороднейших кавалеров; сверх того, было много таких, которые хоть и не жили здесь постоянно, однако проводили здесь большую часть времени, как мессер Бернардо Биббиена, Унико Аретино⁴⁰, Джован Кристофоро Романо⁴¹, Пьетро Монте⁴², Терпандро⁴³, мессер Николó Фризио⁴⁴; итак, постоянно поэты, музыканты и всякого рода приятные и выдающиеся на любом поприще люди, которые только были в Италии, съезжались сюда.

VI

После того как папа Юлий II в 1506 году, собственными силами и опираясь на помощь французов, привел Болонью в повиновение апостолическому престолу⁴⁵, на обратном пути в Рим он проезжал через Урбино, где был принят со всем возможным почетом и такой великолепной и блистательной пышностью, какую только могли себе позволить в каком-либо из славных городов Италии, так что как папа, так и все синьоры кардиналы и иные придворные остались в высшей степени довольны; и при их отъезде некоторые из свиты, привлеченные приятностью здешнего общества, на многие дни остались в Урбино⁴⁶. В это время не только продолжались привычные празднества и развлечения в принятом здесь вкусе, но каждый стремился внести что-то от себя, особенно в игры, которые устраивались почти каждый вечер. А порядок их был таков: сразу после ужина все сходились в покои синьоры герцогини и садились кругом, каждый на месте, какое кому понравится или выпадет; причем женщины чередовались с мужчинами, пока хватало женщин, ибо почти всегда число мужчин было намного больше; ведущего по своему усмотрению выбирала синьора гер-

цогиня, которая в большинстве случаев поручала это синьоре Эмилии.

Итак, на следующий день после отъезда папы, когда общество в установленное время собралось в обычном месте, после всяких приятных бесед синьора герцогиня пожелала, чтобы синьора Эмилия открыла игры; и она, сначала не соглашавшаяся на такое поручение, затем сказала:

— Госпожа моя, раз уж вам угодно, чтобы именно я дала начало играм этого вечера, я, не считая благоразумным послушаться вас, решаюсь предложить игру, в которой, думаю, мне мало придется стыдиться и еще меньше трудиться. Суть ее в том, чтобы каждый предложил по своему вкусу игру, в которую мы еще не играли; из них будет выбрана та, что покажется наиболее достойной для этого общества.

После этого она обратилась к синьору Гаспаро Паллавичино, передав речь ему; и он тут же ответил:

— Вам, синьора, и подобает высказаться первой.

Синьора Эмилия молвила:

— Вот, я уже сказала; синьора герцогиня, прикажите ему повиноваться.

Синьора герцогиня с улыбкой произнесла:

— Чтобы вам повиновались, я назначаю вас моим наместником и наделяю всей моей властью.

VII

— Вот ведь какое дело, — ответил синьор Гаспаро, — женщинам всегда позволено не утруждать себя, и, конечно, стоило бы как-нибудь выяснить причину этого. Но чтобы не стать первым ослушником, я отложу это до другого раза и скажу, что от меня требуется.

И начал так:

— Мне кажется, что как в прочих делах, так и в любовных наши души выбирают не одно и то же; зачастую то, что весьма желанно одному, ненавистно другому. При